

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ОГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР ГАЗЕТА

№ 83 (3267)

Вторник, 13 июля 1954 г.

Цена 40 коп.

МАЛЕНЬКАЯ ТРИЛОГИЯ



Три чеховских рассказа — «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви» (1898 г.) составляют своеобразную трилогию. Каждый из трех главных героев — учитель гимназии Буркин, ветеринарный врач Иван Иваныч Чимша-Гималайский, помещик Алехин — рассказывает по истории: один — о своем знакомом человеке в футляре, другой — о своем брате, который решил «занереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу», третий — о самом себе, о том, как он проглядел свою любовь и счастье.

Тема «футлярной»

жизни может быть в полном смысле слова названа одной из сквозных, центральных тем в творчестве Чехова. Она звучала в рассказе «Учитель словесности» (1894 г.), в котором Никитин описывает бездарного и беспечного педагога-чиновника, преподавателя греческого языка (вспомним, что «человек в футляре» преподавал тот же предмет). Сходный образ возникает в одном из чеховских отрывков — «Шульц». Здесь изображен ученик первого класса Костя Шульц. Он шагает в гимназию, а впереди него идет учитель — «в цилиндре и в высоких кожаных калошах, солидных на вид и которые, как кажется, строго и неумолимо скребут по тротуару. Сколько мог взять сапожник за эти калоши, и думал ли он, когда шил их, что они будут так хорошо выражать характер человека, который их теперь носит?..». В этом наброске деталь, рисуя внешний облик персонажа, выразительно намекает на его характер. Примерно в то же время, в котором относят этот отрывок, в 1896 году Чехов записывает в дневнике об одном журналисте, гостившем у него: «М., в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой, жалуется на заморание сердца».

Это, казалось бы, простая зарисовка, но в ней есть зерно художественного обобщения. Вскоре в записной книжке Чехова появляется такая запись: «Человек в футляре, в калошах, зонт в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то, казалось, улыбался: нашел свой идеал». Это уже не дневниковая запись, но генеральный образ.

Интересно, что между двумя этими записями находятся слова Чехова: «Если человек присасывается к делу, ему чужому, например, к искусству, то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится чиновником. Сколько людей таким образом паразитирует около науки, театра и живописи, надев вицмидиры! То же самое, каку чужую жизнь, кто неспособен к ней, тому больше ничего не остается, как стать чиновником».

Так с разных сторон подходил Чехов к образу не способного к жизни чиновника.

Беликов держит в страхе окружающих людей. В то же время жизнь странит его самого: «Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге...».

Щедринский Угрюм-Бурчесов не боялся жизни, он был идиотически непреклонен:

«Голая решимость — и ничего более».

Он лихо командовал, всегдашел вперед по прямой, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться, вытягивал в струнку дома и пытался даже «унять» непокорную реку, нарушающую своим извилистым движением геометрически правильную угрюм-бурчесовскую прямолинейность. Не совладав с рекой, он строит город в другом месте, но страхи, кажется, так и не коснулись этого облеченнего властью идиота.

«Человек в футляре» принадлежит уже иной эпохе, когда явственной обозначилась историческая обреченностность всего самодержавного, угрюм-бурчесовского царства. Непреклонная решимость начинает уступать место страху перед действительностью. В беликовском «футляре» — в одежде, до машней обстановке, ставнях, задвижках — во всем прежде всего чувствуется стремление спрятаться от жизни, уйти, как улитка в скорлупу. Вот почему гроб для него — самый идеальный «футляр».

В отличие от Угрюм-Бурчесова, Беликов — фигура не официальная, не административное лицо. Он добровольно надел на себя футляр. Тем сильнее подчеркивается всеобщность «футляра». Беликов — представитель целого уклада жизни, знамение времени. Учитель Буркин, рассказывающий о нем, с горечью восклицает, что после похорон Беликова лучше не стало. Но сознавая, что Беликов — далеко не исключение, сам Буркин не дает себе отчета в том, насколько знаменательен «человек в футляре», как кренко он связан со всем строем и духом современной ему жизни. Когда Иван Иваныч, желая продолжать начатый разговор, говорит, что вся жизнь, душная, праздная, бессмысличная, — это тоже «футляр», Буркин его не поддерживает и не дает ему рассказать в связи с этим «одину очень поучительную историю». А когда Иван Иваныч произносит знаменительные слова: «Нет, большие жить так невозможно!» — Буркин заявляет, что это уже и вовсе «из другой оперы». В его душе, очевидно, тоже есть кусочек «футляра», мешающий ему глубоко взглянуть на то, о чем он сам рассказал.

Как вообще начался разговор о Беликове? «Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старости, Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь никогда не была дальше своего родного села, никогда не вышла ни из города, ни из деревни, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу».

В связи с этой женщиной, которая прожила жизнь, почти не видав жизни, женщины, обреченной на существование, поддающее склонение для «рака-отиельника или улитки», — в связи с этим и рассказывает Буркин историю о Беликове. Образ крестьянки Мавры, обреченной на то, чтобы проводить всю свою жизнь в «скорлупе», вносит новый поворот в тему футляра.

В конце рассказа, когда Буркин, прервав Ивана Иваныча, предложил отправить ее спать и все затихло, вдруг раздаются чьи-то шаги: тих, тих... «Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немножко и остановится, а через минуту опять: тих, тих...» — «Это Мавра ходит», — говорит Буркин. Только что прервался разговор о футляре, но, кажется, сама жизнь продолжает его, напоминая о Мавре, о деревенской женщине, которая всю свою жизнь ходит, словно на короткой привязи, вокруг одного места: тих, тих... Такова сила чеховского мастерства: ничего не сказано

как будто, только слышатся тихие, короткие шаги, но о многом говорят они читателю: они наталкивают его на мысль: темнота и невезение людей из народа — это тоже футляр. Так словно расходятся по воде круги от упавшего камня. Все новые стороны жизни охватываются образом — «человек в футляре». И слова: «Нет, большие жить так невозможно!» — уже звучат, как голос самой жизни.

Что за «поучительную историю» хотел поведать Иван Иваныч в связи с рассказом Буркина? Ей посвящено второе произведение трилогии — «Крыжовник». Оказывается, продолжая начатый разговор, Иван Иваныч намеревался рассказать о человеке, который всю свою жизнь мечтал только об одном — о собственном крыжовнике. Лейтмотив первого рассказа — «больше жить так невозможно!» Главная мысль второго рассказа: «Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».

В соответствии с этим и строится весь рассказ. Если своего рода «гувертюри» в разговоре о человеке в футляре служил образ Мавры, то здесь уже совсем иное начало: Буркин и Иван Иваныч далеко ушли от села, где остановились в прошлый раз; рассказ открывается пейзажем: «Далеко впереди слышились видны ветряные мельницы села Мироновского, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые избы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город». Так с самого начала Чехов словно раздвигает рамки повествования, открывает читателю то, чего так и не увидела бедная Мавра. Казалось бы, совсем обыкновенная житейская подробность: в «Человеке в футляре» действие происходит ночью в сарае, а здесь герой вышли в простор. Но вдумаемся — как подходит этот темный сараи для разговора о Мавре, о Беликове, о «футляре» и как оправдана картина вального простора для второго рассказа! Историческая мысль Чехова обнимает собой простор все шире и шире, и вот уже образ всей родной страны встает перед нами. Не случайно дальше идут слова: «Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полу и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна».

И когда открывается такая перспектива, такая глубина видения, маленький и жалкий кажется владелец усадьбы с крыжовником — Николай Иваныч Чимша-Гималайский. Этот образ так же противостоит самой жизни, как и его духовный собрат — человек в футляре. Тот нашел свой идеал в гробу, а об этом Чехов в записной книжке говорит так:

— Человеку нужно только 3 аршина земли.

— Не человеку, а трупу. Человеку нужен весь земной шар.

Любопытно, что эти слова находятся рядом с записью: «...Когда лежал в гробу, то казалось улыбался: нашел свой идеал».

И Беликов и Чимша-Гималайский — фигуры типичные для жизни того времени.

И вместе с тем это — существа, обреченные на гибель. Они связываются в сознании писателя с образом смерти.

Знакомясь с черновыми записями к «Крыжовнику», мы снова приближаемся к самому процессу рождения образа. Вначале Чехов, набрасывая вкратце историю покукии имени, пишет: «Через 2—3 года, когда у него рак желудка и подходит смерть, ему подают на тарелку его крыжовник. Он поглядел равнодушно». Затем такой вариант: «Глядя на тарелку с крыжовником: вот все, что дала мне в конце концов жизнь». Несколько строками ниже: «Крыжовник был киселем: Как глупо, сказал чиновник и умер».

Как видим, во всех этих вариантах чиновнику перед смертью открывалась вся пустота и бессмысличество жизни. Но писатель отказался от такой развязки. В рассказе Чимша-Гималайский уже не чувствует, что крыжовник киселем, не говорит:

«Как глупо», он расплывается в самодовольно-счастливой улыбке, чуть не плачет от радости и с наслаждением ест пусть

жесткий, пусть кислый, но зато свой, собственный крыжовник. Такая развязка

сильнее передает силу собственнического самодовольства. Чимша-Гималайский утратил человеческий облик, даже внешне:

«шестидесятилетний, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянулись вперед, — того и гляди хрюкнет в одеяло». И, может быть, самое страшное в нем — сырость, наглая, ничем не проницаемая, его утробное равнодушие ко всему, что выходит за пределы его усадьбы.

Равнодушие выступает здесь не просто как черта характера, но как форма человеческого существования, предопределенная собственническим укладом. «Деньги, как водка, делают человека чудаком», — замечает Иван Иваныч и рассказывает о купце, который перед смертью съел все свои

деньги с медом, чтобы никому не достались, и еще об одном баринине, которому

ногу поездом отрезало, а он все просил, чтоб ногу отсыпалась — там, в сапоге, деньги, двадцать рублей, как бы не прошли.

В сопоставлении с этими эпизодами Николай Иваныч уже не кажется каким-то

сверхъестественным чудаком, в самой судьбе его начинает пропасти закономерность; история с крыжовником предстает,

как рассказ о том, что сделали с человеком

деньги, собственность, имение. И характерно, что Буркин, более ограниченный, чем Иван Иваныч, не преминул тут снова прервать его: «Это вы уж из другой оперы».

Так открывается новая грань в теме «футляра» — это и беликовская боязнь жизни, машинакальная мнительность, и вместе с

тем «футляр» — это собственническая сущность, самодовольство.

Глубоко предопределенной, внутренне закономерной оказывается эволюция взглядов Ивана Иваныча. Он уже забывает, что отец его — солдат, дед — мужик, говорит: «Мы дворяне», проповедует телесные казнения, считает, что образование хотя и необходимо, но для народа преждевременно. В одной из черновых записей читаем: «Крыжовник»: от сырости начинается либеральная умеренность». И далее: «Умеренный либерализм: нужна собаке свобода, но все-таки ее нужно на цепи держать».

Решая загадку «футляра», человеческого равнодушия, Чехов с глубочайшей художественной зоркостью видит связь между «сыростью» и «либеральной умеренностью», между положением человека в обществе и его взглядами.

В «Крыжовнике» рассказывается о собственнике, потерявшем облик человеческий: одновременно с этим звучит в произведении тема пробуждения человека. «Но дело не в нем, — говорит Иван Иваныч о брате, — а во мне самом. Я хочу Вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе». И далее: «В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив... Я тоже, за обедом и на охоте, получал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать».

Значит, и в самом Иване Иваныче тоже был кусочек «футляра», частица собственнического самодовольства. Он тоже общими словами, внешне довольно либеральными, в сущности, отгораживался от главного — от мысли, что дальше так жить невозможно. Он тоже терпел весь этот строй и уклад жизни, где счастье одних основано на несчастье других, где «счастливый» чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно», терпел и пользовался благами такого порядка и отделялся ими и отчего не обзывающими по желаниями свободы. Вот чем ненавистны были Чехову такие люди, как Лиза Волчаникова из «Дома с мезонином», — они мирились с главным, с общим порядком, основанным на угнетении большинства людей меньшинством, и ограничивались крохоборческими мерами.

Вот с этой-то буржуазной «постепеновицей», с этим примирением с существующими порядками и порывает теперь Иван Иваныч. И противопоставляет он всему этому лицемерию не уход в демонстративную праздность, не толстовское «опрощение», но призыв изменить весь порядок вещей: «Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам, или затянет его пломб, в то время как, быть может, я могу перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!»

Такова перемена, происшедшая с Иваном Иванычем, душевный переворот, открывший ему глаза на действительность. Герой уже в плотную подошел к убеждению, что назрела необходимость изменить весь существующий строй и порядок жизни.

Третий рассказ — «О любви» — по началу не связывается с первыми двумя. Помещик Алехин говорит о любви, которая так и прошла стороной, ничего не изменив в его жизни. «Куда бы я мог увести ее? — говорит он сам о любимой женщины.

— Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы, например, боролся за освобождение родины, или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же, или еще более будничную».

А жизнь у Алехина действительно будничная, бескрылая. С утра до вечера он возится в своем имении, нигде не бывает, ничего не видит, — помыться никогда. Выслушав его грустный рассказ о любви, Буркин и Иван Иваныч жалеют, что «этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердчием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой, или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной...» Любовь Алехина потерпела поражение потому, что сам он оказался недостоин этой любви. Он пытается оправдать себя, но Чехов его не оправдывает: он судит своего героя за то, что тот спасовал, отступил от любви, подчинился ничтожной жизни.

Маленькая чеховская трилогия несет в себе большую тему отрицания современного писателю собственнического порядка. Мы не найдем здесь прямого призыва к революции, да и вообще речь-то как будто идет лишь о жизни и быте отдельных людей. Но огромная сила этой трилогии в том, что она показывала, как в разных сферах жизни, в самых, казалось бы, далеких от большой политики уголках, зреет мысль: больше так жить невозможно, буржуазный строй несовместим с человеческостью, с поэзией, с любовью. Такая жизнь убивает человека, значит, она не имеет права на существование.

Рисуя жизнь самых различных людей, заключенных в «футляре», в скорлупу, кружящихся, как белка в колесе, Чехов звал к тому, чтобы разбить «футляр», покончить с жизнью-тигром и вырваться из имений с крыжовником на вольный простор, где человек мог бы проявить все свойства своего свободного духа.

Три человека поведали три истории, звучавшие, как отрицание той жизни, которую они продолжают вести. А за этими тремя образами появляется образ самого писателя, молодого душой, богатого и любовью и ненавистью, произносящего всему этому собственническому миру приговор — суровый и беспощадный.

3. ПАПЕРНЫЙ</